



Это было ясное утро.
Это было много лет назад.

Они шли вдвоём к восходящему солнцу
и держались за руки.

Они шли к восходящему солнцу,
И каждому казалось, что это его путь.

Теперь у каждого из них свой путь,
И они держатся за руки.

Они держатся за руки
После ясного утра.

*Стефаун Хёрд Гримссон¹.
«Они»² (1989)*



1

*Колькюстадир³, День усекновения главы
Иоанна Предтечи, 1997*

Дорогая Хельга!
Некоторые люди умирают от внешних причин. Другие умирают от того, что смерть давно вошла в них и распространяется по телу, поражая изнутри. Они умирают все. Каждый на свой лад. Некоторые падают на пол, не закончив фразу. Другие уходят мирно, прощаясь во сне. Как угасает их сон? Так, как будто заканчивается кинофильм на экране? Или сон просто изменяется в одно мгновение, появляются новый

свет и новые краски? И ощущает ли это хоть каким-то образом тот, кто видит сон?

Моя Унн умерла. Она умерла во сне однажды ночью, когда никого не было рядом. Да будет благословенна память о ней.

Сам я в хорошей форме, если не считать скованности в плечах и коленях. Старуха Старость делает своё дело. Конечно, бывают моменты, когда ты смотришь на свою домашнюю обувь и думаешь: придёт день, когда обувь будет стоять на своём месте, но не будет того, кто надел бы её. Однако благоприветствуй этот день, когда он придёт⁴, как сказано в псалме. Моя душа всегда была полна жизни. Я почувствовал вкус — жизни. Вот так, моя Хельга.

Ох, я стал несдержанным стариком, и это отлично видно, ведь я стал беречь эту старую рану. Однако у всех есть дверь. И все хотят выпустить через неё то, что внутри. А моя дверь — это старая дверь в загоне для овец, принадлежавшем моему отцу, которого уже нет в живых; солнечный свет проникает туда через щели, его тонкие и длинные лучи проходят между потрескавшимися досками. И если у жизни есть своё место, то это, должно быть, в щели. И так покосилась, потрескалась и расшаталась моя дверь, что она уже не в силах разделять внешнее и внутреннее.

И может быть, это как раз благо — такое несовершенство мастера? То, что в его работе есть трещины и щели, которые пропускают жизнь и солнечный свет.

Скоро я отправляюсь в путь, в то великое путешествие в другую общину⁵, которое суждено всем людям, милая Хельга. И ещё не было случая, чтобы человек не пытался облегчить ношу до начала такого путешествия. Конечно, слишком поздно писать тебе это письмо сейчас, когда все умерли или по-старчески слабоумны в большей или меньшей степени, но я всё же напишу. Если тебе тяжело это читать, просто выброси мои каракули.

Слова мои идут от доброго сердца. Я никогда не желал тебе ничего, кроме добра, знай об этом, Хельга.

Хатльgrim умер зимой. В последние месяцы он уже не мог глотать из-за рака, и не было возможности что-то просунуть в него, в это его большое тело. Он зачах в больнице, на руках у врачей, и когда я смотрел на него в феврале, это были только кожа и кости. Больно было смотреть. Да будет благословенна память о нём.

Да будет благословенно всё, что пыталось и пытается существовать.

Сын моего брата Мартейн забрал меня из дома престарелых, и теперь я провожу лето в комнате, из которой смотрю на дом, где вы с Хатльгримом жили много лет назад. Я позволяю своим мыслям бродить по округе, по склонам, благоухающим солнечным светом с тех самых пор. Это всё, что сейчас можно делать.

Унн лежала на смертном одре пять лет, четыре с половиной из них она хотела умереть. Я плохо пережил тот период во многих отношениях. И я не понимаю, что с ней случилось. Мало-помалу её добрый нрав как будто переменялся и превратился в брань по пустякам. Если я проливал фруктовый сок или задевал вазу с цветами, ухаживая за ней там, в палате, то слышал, что я всегда был «проклятым растяпой» и «не способен справиться ни с какой работой по дому». Возможно, суровый нрав всегда таился в ней, а я узнал о нём только тогда, когда он под конец вырвался наружу?

Она перестала вставать с кровати и не хотела принимать пищу, от лежания в постели и невидимого горя она усохла и превратилась в кости. Прежний свойственный ей дух исчез. Да, дух ушёл из неё. Она была резка на язык и вела себя так, что с ней трудно было иметь дело, с каким бы тщанием за ней ни ухаживали. Это был про-

сто старый человек, к тому же тяжелобольной. И нельзя судить о больном так же, как о здоровом. Я смотрел, как синева в её глазах темнела и чернела, словно небо над горами. Мне казалось, что в этих обстоятельствах я должен был быть там, рядом с ней, и составить ей компанию, как и она мне. Похоже, однако, что она была недовольна своим положением и тем, что пришла в эту жизнь изначально, не удовлетворена тем, как она собой распорядилась. Мне тяжело было слушать её слова о том, что всю нашу совместную жизнь я был отъявленным негодяем, который вёл с ней бесчестную игру. Она сказала, что я никогда не любил её. Ледяным голосом. И опустила глаза.

Я заботился о ней тепло и искренне, как только мог. Покупал ей газеты и коробки шоколадных конфет. Я показывал ей фотографии, где мы вместе на сенокосе, на лугах Грюндир, где старые фермы и жерди для сушки рыбы, прогнувшиеся под тяжестью круглопёра, рыба, подсохшая на ветру; сбор пуха и птенцов на небольших островах; где я снимаю кожу с молодого тюленя или ремонтирую лодку в сарае; где Унн на тракторе Фармэл⁶ с ящиком молока на заднем плане. Я просто показывал ей весь тот солнечный свет, который мне удалось снять на плёнку своим старым фото-

аппаратом в течение жизни. Мы мельком увидели тебя на одной из фотографий, где мы все вместе косили траву; это было ещё до рождения Хюльды. Она указала на тебя. И сказала:

— Ты должен был взять в жёны её. А не такую кладеную овцу, как я. Ты всегда хотел её, а не меня.

Она оттолкнула от себя альбом и смотрела на спинку кровати пустыми глазами. Я сочувствовал ей. Я чувствовал, что люблю эту немощную старую женщину, это умирающее существо, у которого не было практически никого в мире, кто помог бы ей. Я понял, что правильно сделал, прожив с ней на ферме все эти годы. Кто ещё должен был заботиться о ней? Слёзы текли по её щекам маленькими волнами печали. За стенами дома престарелых наступил вечер, и движение на улице стало успокаиваться. Слабый свет фонарного столба проникал в комнату через окно, освещая мокрые от слёз щёки.

Так она умерла. Посреди ночи. Во сне.

2

Старый призрак, который, как я думал, давно упокоился, снова напомнил о себе, вселившись в Унн. Люди в нашем уголке сельской местности пробудили призрак своей вспыльчивостью, глупой и беспричинной. Не Халльгерд⁷ ли вселилась в Унн, эта дурацкая исландская привычка тянуть за собой прошлое и ничего не прощать? В доме престарелых я сделался «прелюбодеем», «шарлатаном», «откровенным двурушником», и Унн начала в мельчайших подробностях рассказывать мне о похотливом удовольствии, которое я получал при каждой встрече с тобой. Это заставляло

меня, мягко говоря, стыдиться, и истинной милостью было то, что немногие могли слышать её крики о том, как я брал тебя, подходя сзади, возделенно ощупывал твои тяжёлые груди и толкал тебя с такой силой, что твои ягодицы шлёпались одна о другую. Именно так она и говорила: «тяжёлые груди».

Находившие на неё припадки заканчивались рыданиями, и тогда она в самоуничижении называла себя обездоленной кладеной овцой. И хотя она говорила, что я лентяй, который никогда не мог управиться ни с финансами, ни с домашним хозяйством, — ты знаешь, Хельга, что работа всегда горела у меня в руках, за исключением той недели, когда я лежал в постели с пневмонией и болезнь мучила меня меньше, чем обвинения, сыпавшие соль на мою давнюю рану, причиной которой были сельские слухи.

Какое же событие разожгло слухи, событие не имевшее места, но с последствиями настолько ужасными — нет, даже худшими, как если бы событие действительно произошло? И можно ли провести грань между тем, что происходит на самом деле, и тем, что будто бы произошло, по словам клеветников, развалившихся на кухнях в возбуждении от кофе, инсинуаций и болтовни о других? Что не произошло в тот праздник Свя-

того Ламберта в 1939 году — но в то же время произошло в умах болтунов?

Возможно, это произошло, когда все спустились в Долину Алтарной Реки и обогнули возвышенность Открытого Мыса, и тут я якобы медленно спустился к тебе в травянистую ложину у Берега Каменного Дома. И по слухам, мы шли вместе и говорили о том, какой красивой была овечья шерсть в тот год, когда овцы спустились с гор, о том, что на брюхах у ягнят шерсть была белой, как снег, о том, какие они упитанные и какой открытый у них взгляд. А я как смотритель общины Алтарной Реки в том году не опасался, что фермерам не хватит корма для овец, ведь сенокос шёл так хорошо. А потом — ах, да — я вспомнил, как выглядело твоё клеймо: одно — полукруглое по бокам с острым треугольным кончиком сверху, другое — полукруглое с ласточкиным хвостом сверху и треугольным вырезом внизу с обеих сторон. И ты в очередной раз спросила меня, как выглядело моё клеймо: верхний прямоугольный обрез слева, ласточкин хвост на кончике и неглубокий вырез справа? Точно. Потом мы будто бы говорили о баране Басси, которого позаимствовали на востоке, на ферме Проток, мы упоминали его мощную грудь и мускулистый хребет. И когда